НЕСГОРАЕМАЯ ПОЭЗИЯ



«Жить в России, не зная русской поэзии или плохо ее зная, – стыдно.
В такой стране живём – поэтической!»
Ю.В.Завельский

Рукописи, скорее всего, всё-таки, горят. Но нам хочется верить, что поэтические строки, которые хоть раз посетили хотя бы одного человека, продолжают существовать в некотором метафизическом пространстве. Они существуют и тогда, когда нет уже и самого поэта, и всех его читателей, и книги пылятся на дальних стойках библиотек. Хочется иногда вспоминать забытые имена. Пробовать читать поэтов второго и третьего ряда, которых сегодня не проходят в школе.

Это не очень просто сделать самостоятельно, подобная работа требует немало внутренней энергии души. В коллективе легче. Поэтому мы запускаем небольшую серию эссе учеников и выпускников 1543.

Первую серию таких эссе мы провели в прошлом году. Сквозной темой стали поэты, погибшие в годы Великой Отечественной войны.

Вторую серию мы решили посвятить поэтам, которые погибли или пострадали в годы сталинских репрессий 1930-50 годов.

/ Рисунок Станислава Гончарова /

лето, 2026

Оглавление

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ /Соня Романенко, 50 параллель/ 3

АННА БАРКОВА /Оля Леонова, 53 параллель/ 7

АЛЕКСАНДР ВВЕДЕНСКИЙ /Виталий Грабенко, 54 параллель/ 10

СОФЬЯ СОЛУНОВА /Маша Нестерская, 48 параллель/ 13

БОРИС КОРНИЛОВ /Сергей Павловский, 20 параллель/ 16

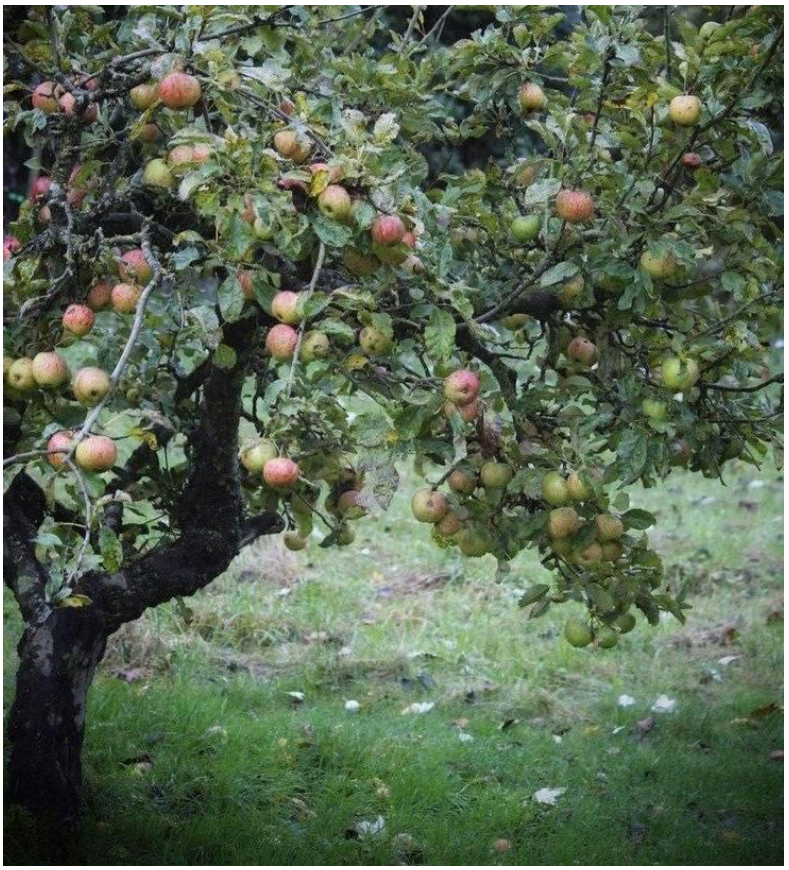
ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ /Сергей Павловский, 20 параллель/ 19

ЮРИЙ КАЗАРНОВСКИЙ /Аня Юфрякова, 48 параллель/ 24

ТАТЬЯНА ГНЕДИЧ /Ася Брюсова, 48 параллель/ 27

ТИЦИАН ТАБИДЗЕ /Ваня Пуляев, 48 параллель/ 30

ФИНАЛ СЕРИИ ЭССЕ 33



НИКОЛАЙ КЛЮЕВ /Соня Романенко, 50 параллель/
“Древо песни бурею разбито”

Срывая с дерева яблоко, иногда невольно задумываешься, какое же это чудо – появление плода на дереве, преобразование веществ, взятых отдельно из земли, в этот сладкий фрукт. Это и есть творчество – впитать корнями мысль, провести её до кончика ветки и окружить косточку-идею мякотью слова, нектаром поэзии.

С корней, с происхождения, с семьи и рода начинается биография любого поэта. Клюев о себе пишет:

«Родовое древо мое замглено коренем во временах царя Алексия, закудрявлено ветвием в предивных строгановских письмах, в сусальном полыме пещных действ и потешных теремов. До соловецкого страстного сидения восходит древо мое, до палеостровских самосожженцев, до выговских неколебимых столпов красоты народной».

Творчество Клюева целиком исходит из этих его корней: из старообрядческих икон и «Жития Протопопа Аввакума», из народных плачей, исполнявшихся матерью, и духовных стихов, из рассказов о деде, ходившем по ярмаркам с медведем, и о дяде-самосожженце, из образов, наполнявших крестьянскую избу. В поэме «Деревня (*https://www.culture.ru/poems/39494/derevnya*)» Клюев обращается к обобщенным предкам – матерям и дедам – как к основе крестьянского мироустройства:
«Ах, матери — трудницы наши,
В лапотцах, а яблони краше,
На каждой, как тихий привет,
Почил немерцающий свет!

Ах, деды — овинов владыки,
Ржаные, ячменные лики,
Глядишь и не знаешь — сыр-бор
Иль лунный в сединах дозор!
Ты Рассея, Рассея матка,
Чаровая, заклятая кадка!»

Корни Клюевского древа уходят гораздо глубже семьи и рода; сама Русская земля, Родина воспринимается как мать.

«Её ли косы смоляные,
Как ветер смех, мгновенный взгляд…
О, кто Ты: Женщина? Россия? —
В годину чёрную собрат!»

Ссылка на стихотворение:
https://ru.wikisource.org/wiki/Я_болен_сладостным_недугом_(Клюев)

«О, кто ты, родина? Старуха?
Иль властноокая жена?
Для песнотворческого духа
Ты полнозвучна и ясна. <…>
Но ты вовек неуязвима,
Для смерти яростных зубов,
Как мать, как женщина, любима
Семьёй отверженных сынов»

Ссылка на стихотворение:
https://ru.wikisource.org/wiki/В_морозной_мгле,_как_око_сычье_(Клюев)

И вот, поднимаясь от корней, дерево уходит вверх, к тому небесному пределу, который всегда казался человеку раем, чем-то святым и безоблачным. Россия «вовек неуязвима», её ждёт спасение. И ветви дерева, особенно самые первые, шелестят в преддверии рая, и поют именно про этот рай. Да и как можно не петь про рай, когда постоянно тянешься вверх.

«Радость незримо придёт
И над вечерними нами
Тонкой рукою зажжёт
Зорь незакатное пламя»

Ссылка на стихотворение:
https://ru.wikisource.org/wiki/Верить_ли_песням_твоим_(Клюев)

Конечно, описывает Клюев и мученичество народа, говорит о великой «русской скорби». Но грядёт освобождение России – как освобождение девушки из темницы в стихотворении «Есть на свете край обширный *(https://ru.wikisource.org/wiki/Есть_на_свете_край_обширный_(Клюев))*»:

Только ветер перепевный
Шепчет ей издалека:
«Не томись, моя царевна,
Радость светлая близка.

За чертой зари туманной,
В ослепительной броне,
Мчится витязь долгожданный
На вспенённом скакуне».

Лирический герой Клюева – пророк рая, «работник господа свободный». Его манифест - стихотворение «Я был прекрасен и крылат» (*https://www.culture.ru/poems/39481/ya-byl-prekrasen-i-krylat*).

«Я был прекрасен и крылат
В богоотеческом жилище,
И райских кринов аромат
Мне был усладою и пищей»

Как пророк, он «вовек непричастен» смерти, «как небо» «мудро-светел». Лирический герой готов даже на мученичество – взойти «новобрачно» «по заре на эшафот».

Опыт мученичества у Клюева был. Еще в 1905-1907 году поэт активно участвовал в революционном движении, занимался пропагандой среди крестьян, за что был приговорен к тюремному заключению.

К Октябрьской революции Клюев отнесся как к пришествию «светлого ездока», которого он так ждал, «витязя долгожданного», который освободит Россию. Эта позиция отразилась в стихах первых лет революции. Но рай для народа вдруг оказался адом, причем в первую очередь для крестьянства. Прославления большевиков сменяются обличениями, описаниями страданий и упадка апокалиптического характера. Так пишет Клюев в «Деревне»:

«Мы тонули в крови до пуза,
В огонь бросали детей, —
Отчего же небесный кузов
На лучи и зори скупей?

Маята как змея одолела,
Голову бы под топор…
И Сибирь, и земля Карела
Чутко слушают вьюжный хор. <…>
Ты Рассея, Рассея матка,
На мирской смилосердись гам:
С жемчугами иль с кровью кадка,
Окаянным поведай нам!» (Деревня)

Такие же страшные картины мы видим в «Погорельщине» - поэме, ставшей главной причиной ссылки Клюева. Поэт изобразил ужасы коллективизации метафорически, через появление в деревне змия, уничтожающего все вокруг.

Что бы ни говорил Клюев о мученичестве и неподвластности смерти, он, конечно, всё ещё был человеком. Метания были свойственны не только его религиозной позиции, но и политической. Несколько раз, в особенно проблемных ситуациях, когда давили и критика, и государственные органы, Клюев пытался писать восторженные проправительственные стихи. Но это не помогало. Самое последнее подобное произведение – «Кремль» - было написано в 1937 году. Но до Кремля поэма дойти не успела.

Клюева расстреляли в октябре 1937 года в Томске, после четырех лет ссылки, по обвинению в участии в повстанческой организации, которой, конечно, никогда не существовало. Точное место захоронения Клюева не известно. Почти всё, что Клюев написал в ссылке, утеряно.

И вот дерево, ушедшее корнями в глубину, поднявшееся ветвями высоко и разросшееся, срубили просто и быстро – у дровосека на это мало времени, а таких деревьев сотни. Разбираться ему некогда.

И не узнаем мы, какими могли бы быть яблоки, так и не выросшие, и какими были последние яблоки, никем не собранные, упавшие на землю и ставшие этой землей.

И это не только про Клюева, а про всех героев наших эссе в этом цикле. Всё это – плач по несобранным плодам, по ненайденным, незаписанным и ненаписанным стихам, исчезнувшим по вине топора.



АННА БАРКОВА /Оля Леонова, 53 параллель/

Анна Баркова была некрасивой с рождения. Хилой и болезненной. Ее родители думали, что она не проживет и года. Но, вопреки всему, поэтесса выжила и прожила очень долгую, полную невыразимых мучений жизнь. И все из-за особого склада ума? Души? — Анна Баркова всегда честно говорила, что думает. Ее стихи удивительно правдивы и остры. Двадцать один год, почти треть своей жизни, Анна Баркова провела в лагерях. Ее называют и «пролетарской Ахматовой», и «Ахматовой в спецовке», хотя больше всего ее лирика перекликается с Блоком: та же тоска по минувшему веку и ощущение неминуемой, надвигающейся гибели. Вечно жаждущая свободы, стойкая, самоироничная поэтесса боролась почти всю свою жизнь.

Талант Барковой был замечен еще наркомом просвещения Луначарским, когда девушке было около двадцати лет. Он и помог выпустить ее первый сборник стихов «Женщина».

Ещё в 1925 году Баркова уже сумела рассмотреть грядущие тёмные годы:

«Пропитаны кровью и желчью
Наша жизнь и наши дела.
Ненасытное сердце волчье
Нам судьба роковая дала.
Разрываем зубами, когтями,
Убиваем мать и отца.
Не швыряем в ближнего камень —
Пробиваем пулей сердца…»

В этом стихотворении — разрушение сложившихся устоев жестокостью. Это искажённое состояние человеческой души, в которой и библейские заветы, и мораль нарушаются. В конце следует возглас:

«А! Об этом думать не надо?
Не надо — ну, так изволь:
Подай мне всеобщую радость
На блюде, как хлеб и соль»

Возглас в пустоту, обращённый к тем, к Тому, кто заставляет идти на эти ужасные вещи, взамен на обещанную радость. Метания преследуют поэтессу, она пишет стихотворение, полное романтического разочарования:

«Лирические волны, слишком поздно!
Прощаться надо с песенной судьбой»

И:

«…Ты, жизнь моя, испорченный набросок
Великого творения, истлей!»

Однако замолчать Анна Баркова не смогла, в 1934 году поэтессу отправляют в Карлаг —Карагандинский исправительно-трудовой лагерь.

В творчестве Барковой сильны мотивы прошлого. Свободного прошлого азиатской России. Ещё в сборнике «Женщина» была эта тоска по минувшему, но в лагере она возвращается особенно остро, принимает новый, более горький облик. Уже будучи заключённой, Анна Баркова пишет стихотворение «В бараке», в котором это особенно видно:

«…Возвратиться б монгольской царицей
В глубину пролетевших веков,
Привязала б к хвосту кобылицы
Я любимых своих и врагов»

И эта дикая жестокость, и дикая свобода делать всё, что вздумается, и со своими врагами, и с любимыми. Полный контроль над всем, а в конце концов — и над своей жизнью:

«…В неизбежный момент пораженья
Я упала б на собственный меч…»

В этом стихотворении с тесным названием — огромная тоска по свободе. В силу постоянного заточения и лишения свободы, образ её у Барковой будет много раз возникать в стихотворениях. Это и «Благополучие раба» — стихотворение об ужасном унижении, ломающем человеческий дух, — ведь не нужна ни постель, ни еда без свободы — особенно остро понимаешь это только тогда, когда её лишаешься.

И «Тоска Татарская» — та же, что и «В бараке», — тоска о кочевом прошлом, о тех вечно движущихся людях, которые сами выбирали свою дорогу.

Уже в последние годы жизни совсем старая Анна Баркова пишет «Герои нашего времени»:

«Героям нашего времени
Не двадцать, не тридцать лет.
Тем не выдержать нашего бремени,
Нет!..»

В этом стихотворении собрана по кусочкам целая эпоха и выведена страшная формула «героя» страшного времени:

«Мы всё видели, так мы выжили»

Поверить в произошедшее невозможно. Невозможно представить себе, через что прошла Анна Баркова, сколько есть совершенно неузнанных поэтов, от которых не осталось и единого слова… Они канули в Лету за то, что писали, творили, думали. За то, что не могли молчать.



АЛЕКСАНДР ВВЕДЕНСКИЙ /Виталий Грабенко, 54 параллель/

(Иллюстрация М.Молочникова)

Вклад ленинградского поэта и публициста, одного из основателей и ведущих членов группы ОБЭРИУ («Объединение реального искусства»), жертвы Большого террора 1937-38 годов Александра Ивановича Введенского можно сравнить с творчеством его современников и соратников Н. Заболоцкого, Н. Олейникова, К. Чуковского, С. Маршака. Однако, если всех вышеперечисленных авторов читатели признали давно и всерьёз, то произведения Введенского никогда не входили в массовую культуру. Слава пришла к поэту только к 1980-м годам, когда в США впервые вышло его собрание сочинений. И поначалу это была слава одного стихотворения, в итоге ставшего «визитной карточкой» Введенского в истории литературы – «Элегия».

Эти стихи написаны в период, когда все основные участники группы ОБЭРИУ, и, следовательно, Введенский, обратились к своеобразному неоклассицизму, сохраняющему связь с традициями авангарда. Действительно, совершенно отчетливо заметен классический строфический склад стихотворения, а некоторые фрагменты текста отсылают читателя к стилистике Пушкина. Не случайно неоклассицизм обэриутов назван мной своеобразным – все образы и эпитеты остранены. Так, у коня есть «могучие ладони», воин «плавает нагавой», а птицы одеты в блестящие как спицы «халаты». Да и само название стихотворения сопровождается нелепым, дурашливым эпиграфом – перефразированной строкой из «Элегии» Бахтина:

«Так сочинялась мной элегия
О том, как ехал на телеге я»

«Элегия» - стихи о глобальном поражении человека на фоне абсолютной гармонии окружающего мира. Если учитывать время создания стихотворения (как принято считать, 1940 год), то все это можно понять как отражение трагедии людей круга Введенского, ощущавших себя лишенными будущего на фоне процветавшего государственного сверхпроекта. Но «чинарь авторитет бессмыслицы» расставляет акценты несколько иначе: для него важна не столько трагедия конкретного

поколения, сколько источник этой трагедии, проклятие, нависшее над всем человечеством.

Путеводной в творчестве Введенского была «бессмыслицы звезда» (вообще, само слово «бессмыслица» было для поэта значимым и сакральным). Он ставил эксперименты над словом и звуком. И смысл написанного в этих опытах был не особенно важен:

«Мне невероятно обидно
что меня по-настоящему видно.
Еще есть у меня претензия,
что я не ковер, не гортензия»

Приведенный выше отрывок взят из знаменитого стихотворения Введенского «Мне жалко что я не зверь…», которое в дружеском кругу называли «Ковер гортензия». В основе этого текста лежит важная для модернистской поэзии проблема несовпадения себя с окружающим миром. Обэриуты подходили к этой теме по-разному – у Введенского она носит метафизический, духовный, возвышенный характер. В этом стихотворении автор предстает как поэт-философ, поэт, который хочет быть кем угодно: зверем, звездой, червяком, жалостью, березовой рощей, ковром, гортензией. Но кто он сам? И кем являются эти удивительные воображаемые им существа – «жуки жуки» и «жуки пауки», «трава трава» и «свеча трава»? Все это – физиологически ощутимые поэтические образы, скорее всего, связанные между собой случайными созвучиями, объеденные удивительным экспериментом поэта.

Даже в «Приглашении меня подумать» – одном из самых светлых и лиричных стихотворений Введенского – идет речь о постепенном разрушении, гибели и исчезновении мира. Но поэту интересно не это – по ту сторону «гаснущей жизни» его ждет и манит прекрасный мир «царственной ночи». Читая это, сразу же вспоминаются строки многих стихотворений Ф.И. Тютчева, для которого именно ночной мир был глубинным, подлинным, обнажающим «бездну с своими страхами и мглами». Лирический герой Введенского выходит из времени, отвергает все связи с миром и припадает к чему-то «непонятному», и «необъяснимому». Проводником в этом удивительном мире становится мудрая Лиса, которая, как предполагает лирический герой, способна даже ответить «на вопросы Бога», а собеседниками – «гордые рыбы».

Не чужда была Введенскому и тема самоубийства. Впервые она появляется в его стихотворении «Где. Когда.».
Перед тем как «сложить оружие, вынуть из кармана висок и выстрелить себе в голову», герой произносит монологи (стилистически очень близкие с «Элегией»), обращенные к деревьям, камням, реке, мору, целому миру). После смерти человека его монолог становится диалогом – природа отвечает герою. Но он уже «цепенеет», «каменеет», «леденеет». Крики людей «не то дикарей, не то нет» внезапно пробуждают умершего, и он называет то, с чем забыл попрощаться. Возникает имя Пушкина, чье подтекстное присутствие ощутимо с самого начала стихотворения. Именно в восклицании «Ах Пушкин. Пушкин.» заключено творческое начало поэта А. Введенского. И эти слова произнесены после прощания с жизнью.

Все отмеченные выше стихотворения очень серьезны и глубоки, и, естественно, были предназначены для взрослой публики. Однако, как «взрослый» автор Введенский печатался только дважды при жизни. Массовому читателю были непонятны его литературные опыты, поэтому в официальной литературе поэт, как и его ближайший друг Даниил Хармс, существовал только как детский писатель. Но если «детские» стихи Хармса практически неотличимы от «взрослых» и полны черного юмора, то про Введенского такого сказать нельзя. Его произведения для детей мягкие и лиричные. Лидия Чуковская писала о них:
«Чистый и легкий стих А. Введенского вводит ребенка не только в мир родной природы, но и в мир русского классического стиха, словно приготовительный класс перед веснами, звездами, ритмами Тютчева, Баратынского, Пушкина»

Но все же некоторые композиционные приемы сближают двух обэриутов. Так, фирменный ход Хармса – повторение больших текстовых блоков с незначительными изменениями – часто использовался Введенским во многих «детских» стихах, к примеру, в стихотворении «Кто?». Сюжет произведения – история мальчика-шалуна, устроившего беспорядок в комнате дяди – не сочетается с его изысканной и даже изящной формой – настолько он простодушен и идилличен. В этом стихотворении есть еще одна очень любопытная деталь: героев зовут так же, как и сыновей Введенского (родного Петра и усыновленного Бориса). Впрочем, оба сына появятся в жизни поэта незадолго до его страшной и таинственной смерти в тюремном вагоне, который вез его по этапу из Харькова в Казань.

Судьба А. Введенского – еще одно доказательство того, что творческая, нестандартная, нонконформистская личность избыточна и неспособна существовать в условиях тоталитарного режима. Такой человек неизбежно попадал в сети подозрений, злобных нападок и репрессий.

В истории нашей страны, в судьбах её сынов ещё много нераскрытых тайн. Раскрывать их необходимо, иначе повернется вспять само колесо истории. Как писал сам поэт:

«Чтобы было все понятно,
Надо жить начать обратно»

Стихотворения Александра Введенского:
«Элегия»: https://www.culture.ru/poems/3183/elegiya
«Мне жалко что я не зверь»:
https://www.culture.ru/poems/3189/mne-zhalko-chto-ya-ne-zver)…,
«Приглашение меня подумать» (https://slova.org.ru/vvedenskiy/priglashenie/)»
«Где. Когда (https://онлайн-читать.рф/введенский-где-когда/)»
«Кто (https://www.culture.ru/poems/3205/kto)?»



Фрагмент иконы новомучеников

СОФЬЯ СОЛУНОВА /Маша Нестерская, 48 параллель/

«Надо мной раскаленный шатер Казахстана,
Бесконечная степь колосится вдали.
Но куда б не пошла, я тебя не застану,
О тебе не хотят рассказать ковыли…»

Эту песню Сергей Довлатов услышал в начале 60х годов в одном из северных лагерей республики Коми во время своей службы в советской армии. Песня относится к лагерному фольклору ГУЛАГовских времен, можно сказать - народная. По одной из самых правдоподобных версий, стихи написаны заключенной Акмолинского женского лагеря Софьей Солуновой в конце 30х. Довлатову запомнились стихи, и он вставил их в свою известную раннюю повесть «Зона». Опубликовать «Зону» Довлатов смог уже только в Америке в 1982 году. Тридцатые, шестидесятые, восьмидесятые… Казахстан, Коми, США… Так стихи Солуновой обогнули двадцатый век и земной шар.

В XXI веке земной шар продолжает крутиться, отголоски тех лет и тех песен доходят и до нас, нынешних. В начале 2026 года для получения американской визы мне нужно было оказаться в Астане. Возвращение в Москву было немыслимо без посещения места, о котором мне было многое известно благодаря героям фильма «Дольше жизни».

Сто лет назад нынешняя столица Казахстана была небольшим городом посреди бескрайней степи. Он назывался Акмолинск. Рядом с ним находился один из самых необычных островов Архипелага ГУЛАГ. Ни одна из узниц этого женского лагеря не имела никакого формального личного обвинения, даже надуманного и нелепого. Вся их вина заключалась только в том, что все они были жёнами, сестрами или дочерьми «врагов народа» и вовремя не донесли на них в органы госбезопасности. Поэтому в народе лагерь назвали – АЛЖИР, «Акмолинский Лагерь Жен Изменников Родины». Через АЛЖИР прошли женщины 62 национальностей, общей численностью более 8000 человек. Теперь здесь большой мемориальный комплекс, встречающий «Аркой Скорби», а на гранитной стене выбито имя каждой из узниц.

Из Астаны в мемориал АЛЖИР я еду по бесконечной пустой степи. Сила пронизывающего степного ветра чувствуется внутри машины. Климат в этих местах резко континентальный, палящее солнце сменяется сильными морозами. После многочисленных фильмов и книг об этом лагере невольно задумываешься о сложной природе рождающихся внутри чувств. Переживание боли - это сочувствие. В сочувствии содержится сопричастность к беде другого человека. Но почему человек переживает чувство сопричастности к беде людей, которые жили с ним в разных эпохах?

Вглядываясь в пустую степь, пытаешься найти собственные ответы на вопросы, а в это время как отголосок просмотренных фильмов и экскурсий звучат стихи Софьи Солуновой:

«Мы жнем камыш, как жнут хлеба в июле.
Кругом снопы и солнечная тишь.
Но берега в сугробах утонули.
Мы жнем камыш.

Звенят серпы над хрупкими стеблями.
Слова простые редки и скупы.
Зима и солнце в заговоре с ними.
Звенят серпы»

Рефрены, одинаковое начало и конец строфы передают ощущение временной ямы. Так передается иррациональность случившейся трагедии.

«Пока ветра лениво прикорнули
У дальних крыш.
Мы жнем камыш, как жнут хлеба в июле.
Мы жнем камыш»

Жатва камыша была монотонной изнуряющей работой, окольцовывающей жизнь узниц. В степи из камыша производился главный строительный материал - саман (кирпичи из камыша и глины), из них женщины сами строили лагерные бараки.

«Пусть край суров, но небо примеряет
Все лучшие шелка невиданных цветов.

Нас каждый новый день надеждою встречает.
Пусть край суров.

И тут поют, кружась над степью, птицы
И гнезда в камышах весною также вьют.
Они еще не раз над нами будут виться,
Не раз споют»

Трагичность здесь достигается точно не форсированием темы противопоставления добра и зла, а иными средствами. Это переплетается с историческими свидетельствами многих узниц АЛЖИРа о том, что начальник лагеря, Сергей Баринов, был человеком, к которому узницы питали симпатию, «потому что он делал хорошее, что было в его силах». Это остается трудно постижимым. Однако я думаю, что люди, пережившие такие испытания, правда, не искали опору в ненависти или мести, потому что это бессильно в борьбе со злом. Вероятно, опора была только в радости цветам, небу, в милосердии и прощении.

Мужа Софьи Солуновой расстреляли, сама она девять лет пробыла в лагерях. В заключении она писала стихи. Она очень любила поэзию, с собой в АЛЖИРе у неё была книга стихов Ольги Берггольц, с которой они были знакомы с юности.

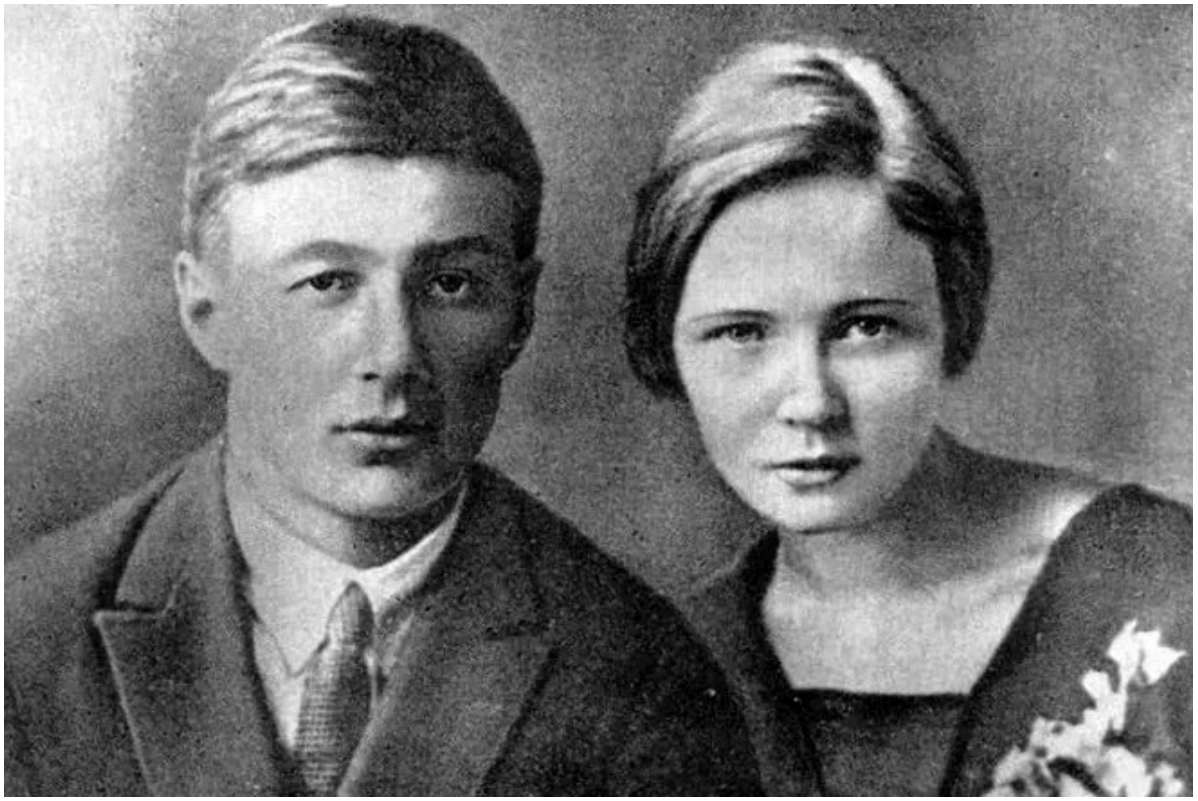
По возвращении в родной Ленинград она работала учителем французского и английского в 222-ой школе. Сегодня школа называется Петршуле №222. Это старейшая школа в Петербурге, в ней учились Росси, Мусоргский,Фонвизин, Хармс. В 1956 года Софья Солунова была реабилитирована.

Познакомившись с судьбами этих людей, для меня остался открытым вопрос понимания патриотизма в контексте сравнения переживания не гордости, а горести за народ. Мне показалось, что переживание горести сильнее обнажает чувство личной связи с историей своей страны.

«Но злаки гибнут, – мы остались жить,
Водой живой нас Родина омыла
И, подобрав с затоптанной межи,
В родную почву вновь пересадила.

Прекрасен мир без вышек и оград.
Без страха, мозг терзавшего ночами.
И дети наши снова мирно спят
И спать спокойно мы привыкли сами.

Всё унесла весенняя вода:
Решётки, нары, узел в изголовье,
Но породнить успела нас беда,
Пожалуй, крепче, чем единой кровью»
1960



В русской литературе есть две особенные пары супругов-поэтов. Он на три года старше, и чуть ранее стал известным поэтом. Она тоже не отстала, а в итоге и перегнала. Его молодым поставили к стенке и расстреляли собственные сограждане, она прожила долгую и сложную жизнь, став символом своей эпохи, примером стойкости и гражданского мужества.

Первую пару все знают. Это Ахматова-Гумилев. Серебряный век. Вторая пара уже из следующего, советского поколения, на двадцать лет моложе. Это Ольга Берггольц и Борис Корнилов. Расскажем подробнее о них.

БОРИС КОРНИЛОВ /Сергей Павловский, 20 параллель/

Восемнадцатилетний Сергей Есенин приезжает из деревни в Петроград в марте 1915 года, чтобы показать стихи своему кумиру – Александру Блоку. Восемнадцатилетний Борис Корнилов приезжает из деревни в тот же город, уже Ленинград, в декабре 1925-го, чтобы показать стихи своему кумиру – Сергею Есенину.

«Говорил о полевом, о прошлом,
как в полях, у старенькой сохи,
как в лугах немятых и некошеных
я читал тебе свои стихи…»
Б.Корнилов «Лошадь»

В Ленинграде юноша узнает, что Есенин а) уже не живой как человек, б) уже не актуален как поэт. После чего входит в литературный кружок «Смена», где знакомится с 16-летней Ольгой Берггольц. Позднее она вспоминала: «Глаза у него были узкого разреза, он был слегка скуласт и читал с такой уверенностью в том, что читает, что я сразу подумала: «Это ОН». Борис Корнилов - мой первый мужчина, мой первый муж, отец моей первой дочери».

Юность, литература, Ленинград. Они вместе пошли учиться на курсы искусствоведения. Ольге Берггольц поэт посвятил свой первый поэтический сборник «Молодость».

Английский профессор в романе белоэмигранта Владимира Набокова «Подвиг» снобски замечает, что после революции литературная почва в России счищена бульдозером, и новая почва вырастет не ранее, чем через столетие. Поэт Борис Корнилов как раз из плеяды тех, кто начинал расти на этой голой глине.

Как истинный неофит, он запанибрата со всеми великими:
«Надо мной звереют тучи…
Старикашкой прихромав,
Говорит со мною Тютчев
О грозе и о громах»

Ну и, разумеется, он «на дружеской ноге с Пушкиным»:
«Ветры дуют с оста или с веста,
Всадник топчет медную змею…
Вот и вы пришли на это место —
Я вас моментально узнаю.
Коротко приветствие сказали,
Замолчали, сели покурить…
Александр Сергеевич, нельзя ли
С Вами по душам поговорить?»

Про Пушкина у него вообще очень много:
«Пушкин спал.
Ему Нева приснилась.
Он гуляет, радостен и жив.
Государь, сменивший гнев на милость,
Подошел, и страшен и плешив.
В ласковой, потасканной личине,
Под сияньем царского венца,
В императорском огромном чине,
Сын, убийца своего отца.
Пушкин плюнул. Экое приснится —
И нелепо, и мечта не та…
За окном российская темница,
Страшная темнища. Темнота»

В финале своего нахального диалога с Пушкиным лирический герой замечает:

«Вы простите — может, я развязен?
Это — от смущенья моего!»

В этой развязности есть что-то трогательное. Корнилов вообще смахивает на прообраз пролетарского поэта Ивана Бездомного.
«По улице Перовской иду я с папироской,
Пальто надел внакидку, несу домой халву;
Стоит погода — прелесть, стоит погода — роскошь,
И свой весенний город я вижу наяву»

Ленинград и правда стал своим городом для деревенского поэта. Он много о нем пишет. Иногда даже вполне искренне, иногда парой первых строчек вполне дотягиваясь до другого ленинградского поэта, творившего полвека спустя – Виктора Цоя:
«Спичка отгорела и погасла —
Мы не прикурили от нее,
А луна — сияющее масло —
Уходила тихо в бытие.

Будем помнить грохот на вокзале,
Беспокойный, тягостный вокзал,
Что сказали, что не досказали,
Потому что поезд побежал.

Все уедем в пропасть голубую,
Скажут будущие: молод был,
Девушку веселую, любую,
Как реку весеннюю любил…

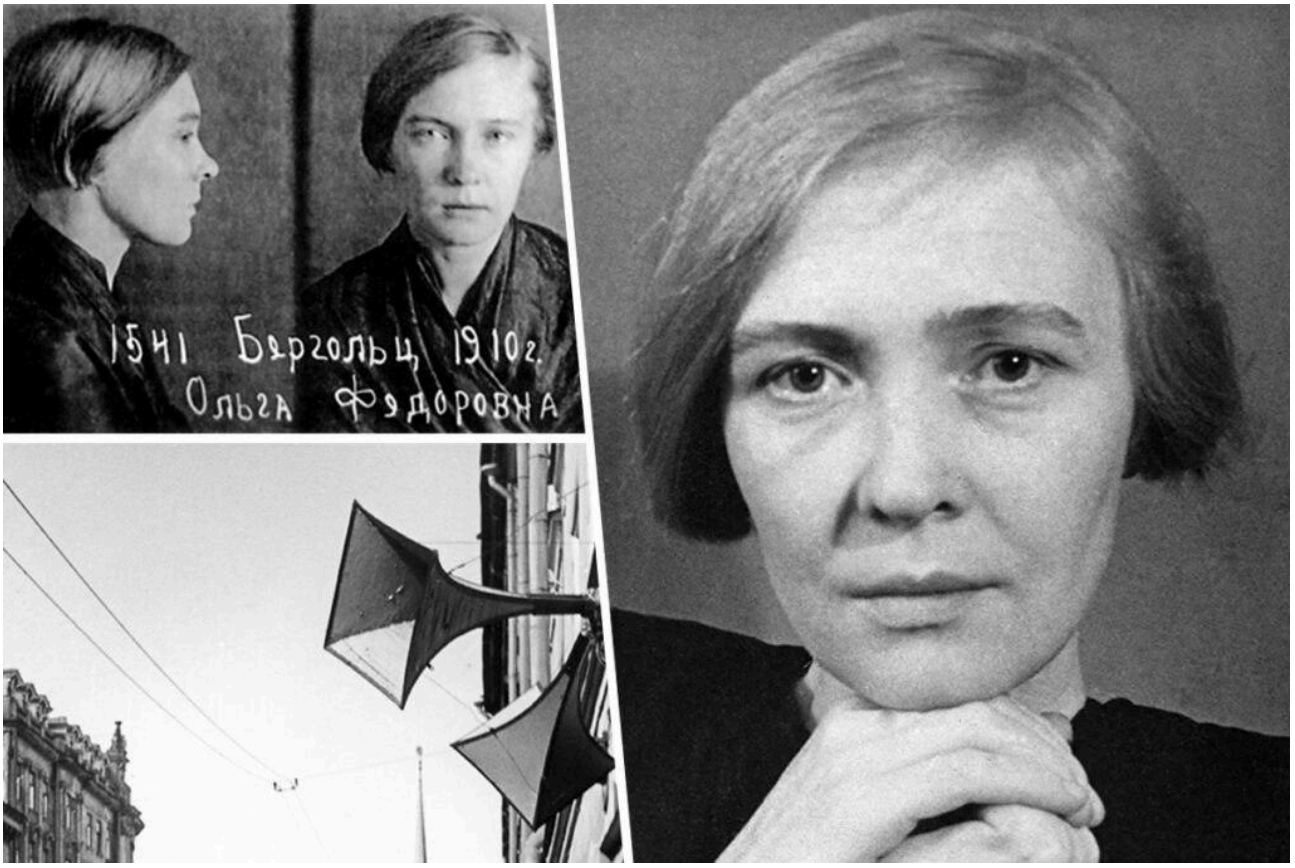
Вот и всё.
Когда вы уезжали,
Я подумал,
Только не сказал,
О реке подумал,
О вокзале,
О земле, похожей на вокзал»

И вот все это поставили к стенке и расстреляли в 1938 году. 20 февраля. Ему было 30 лет.

Самые известные строки Бориса Корнилова – это «Песня о встречном» из одноименного советского фильма 1932 года о трудовой доблести ленинградских рабочих.
«Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Весёлому пенью гудка?»

Мелодию песни написал Дмитрий Шостакович. Ее сходу подхватила и много лет пела вся страна. Пела, не зная судьбы автора текста. А автора у текста как бы и не было. После расстрела Бориса Корнилова в титрах значилось «слова народные».

Поэт – певец народа. Так что может быть большей наградой для поэта, чем это посмертное – «слова народные»?
«Любить грешно ль, кудрявая,
Когда, звеня,
Страна встаёт со славою
На встречу дня»



ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ /Сергей Павловский, 20 параллель/

Берггольц никогда не была кудрявой. И волосы и характер прямые, несгибаемые. Хотя по наивности юности она еще носила косы:

«Кланяюсь Анне Андреевне Ахматовой: я имела счастье быть ее другом – с того дня, когда девчонкой с косами пришла к ней, до дня ее смерти».

Из «Попытки автобиографии»

Все три мужа Ольги Берггольц – поэты или литературоведы, одним словом – филологи. Любовь к слову и любовь к родине крепко переплелись в ее судьбе.

В начале 1937 года Берггольц была вовлечена в «дело Авербаха», по которому проходила свидетельницей. После допроса, будучи на большом сроке беременности, она попала в больницу, где потеряла ребёнка. К середине 1938 года все обвинения с неё были сняты. Но через полгода Берггольц, находящуюся вновь на большом сроке беременности, арестовали по обвинению в связях с врагами народа по делу «Литературной группы». После побоев и пыток Ольга прямо в тюрьме родила мёртвого ребёнка.

«Не я ли это, желанный сын,
С тобой, с тобой?

Когда мы вернемся, желанный сын,
К себе домой?
Кругом пустынно, кругом темно,
И страх, и ложь,
И голубь пророчит за темным окном,
Что ты – умрешь…"

В тюрьме Берггольц продержали 170 дней, её здоровье было окончательно подорвано. Но она держалась стойко и не признала себя виновной. В отличие от нескольких коллег, из которых под пытками были выбиты показания на поэтессу. В середине 1939 года она была освобождена и полностью реабилитирована. Об этом в ее дневнике сказано так:

«Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в неё, гадили, потом сунули обратно и говорят: живи!».

Во время тюремного заключения она написала цикл «Испытание» *(https://rupoem.ru/poets/berggolc/i-snova-xvatit*) , состоящий из небольших поэтических отрывков, как и ахматовский «Реквием». Оба произведения об одном и том же, но только у Ахматовой снаружи, а у Берггольц изнутри тюрьмы:

«Друг мой, ты спросишь –
как же я выжила,
Как не лишилась ума, души?
Голос твой милый все время слышала,
Его ничто не могло заглушить.

Ни стоны друзей озверевшей ночью,
Ни скрип дверей и ни лязг замка,
Ни тишина моей одиночки,
Ни грохот квадратного грузовика.

Как странно знать, что в городе одном
Почти что рядом мы с тобой живем...
Я знаю, как домой дойти: пятнадцать
Минут ходьбы, пять улиц миновать.
По лестнице на самый верх подняться
И в дверь условным стуком постучать.
Ты ждешь меня, возлюбленный! Я знаю,
Ты ждешь меня, тоскуя и любя...
Нет, я не виновата, что страдаю,
Что заставляю мучиться тебя!»

Пережитые страдания, унижения, расстрел первого мужа, примеры предательства и примеры верности - ее дважды исключали и дважды принимали обратно в Союз писателей – весь этот горький опыт Ольга Берггольц опишет в своем программном стихотворении. Оно не о ней одной, оно обо всем трагическом первом советском поколении:

«Нет, не из книжек наших скудных,
Подобья нищенской сумы,
Узнаете о том, как трудно,
Как невозможно жили мы.

Как мы любили горько, грубо,
Как обманулись мы любя,
Как на допросах, стиснув зубы,
Мы отрекались от себя.

Как в духоте бессонных камер
И дни, и ночи напролет
Без слез, разбитыми губами
Твердили «Родина», «Народ».

И находили оправданья
Жестокой матери своей,
На бесполезное страданье
Пославшей лучших сыновей

О дни позора и печали!
О, неужели даже мы
Тоски людской не исчерпали
В открытых копях Колымы!

<…>

И ежедневно, ежечасно,
Трудясь, страшилися тюрьмы,
Но не было людей бесстрашней
И горделивее, чем мы!»

Здесь прямая отсылка к ключевому патриотическому тексту Ахматовой 1922 года «Не с теми я кто бросил землю на растерзание врагам» - вызов, который так и не смогли ей простить белоэмигранты (Набоков много лет после этого глумился над ее творчеством в своих романах). У Ахматовой там было так:

«А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас»

В отличие от ахматовских современников, у Берггольц и ее ровесников не было выбора - отклонять удар или не отклонять. У них не было искушения эмграцией. В той ситуации, в которую угодили они, верные сыновья и дочери Советской родины, им оставалось только хранить достоинство. Поэтому «надменность и простота» Ахматовой уступают место «бесстрашию и гордости» Берггольц. Качества тех, кто обречен был погибнуть «в открытых копях Колымы» или в окопах Великой Отечественной. И здесь символично, что стихотворение «Нет, не из книжек наших скудных» датировано 22 мая 1941 года – ровно за месяц до ее начала.

У писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева есть очень короткий рассказ "На станции Свободной". *(https://militera.lib.ru/prose/russian/kondratyev4/02.html)*Июнь 1941 года. Молодой курсант в военном эшелоне проездом через глухой сибирский полустанок случайно становится свидетелем погрузки зеков в вагон поезда. Его шокирует грубость и унижение, его шокирует, что их заставляют перемещаться по платформе на коленях. "Неужели и моего отца сейчас тоже так.." Регулировщица на полустанке внимательно смотрит на него, она все понимает. И после подходит к курсанту, утешает и произносит ключевую фразу: "Господи, сынок, как же ты воевать-то будешь?"

Посвящение этого рассказа такое:
Тем моим сверстникам, которым воевать было труднее, чем остальным, но воевавшим не хуже, а может, и лучше других.

Следующее стихотворение Ольги Берггольц отвечает не только на вопрос регулировщицы из рассказа Кондратьева, но и на общее недоумение современного человека - а как же люди, у которых близкие или они сами столкнулись с кровавой жестокостью и несправедливостью от имени собственной страны, с началом Великой Отечественной войны встали и пошли эту свою страну защищать? Не один, не десять, а массово - сотни тысяч. И, если бы не они, то и всем было бы не выстоять.

Ольга Берггольц снова пишет от лица поколения. С полным правом поэта, певца народа, который сам прошел то же, что выпало остальным. Выйдя на волю оболганной и униженной, потеряв в тюрьме так и не родившихся детей, через два года она воскликнет такие слова, которые не оставляют сомнений в искренности ее голоса. И это написано не для публикации, а для себя - "в стол". И это написано не когда-то потом, задним числом, а сразу же по горячим следам, уже в 20х числах июня 1941 года:

«Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!

Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной — с Тобою было,

это Ты мужалась и ждала.

Нет, я ничего не позабыла!
Но была б мертва, осуждена, -
встала бы на зов Твой из могилы,
все б мы встали, а не я одна.

Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с темной радугой над головой.

Он настал, наш час, и что он значит —
только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя — я не могу иначе,
я и Ты по-прежнему — одно»

Весь страшный период ленинградской блокады Берггольц, отказавшись эвакуироваться, проживет вместе с остальными ленинградцами – в осажденном городе. Здесь похоронит второго мужа, умершего от голода. Здесь будет работать в Радиокомитете, ни на минуту не оставляя сограждан, ждавших передачи с ее стихами почти что как хлеба.

После блокады ее прямолинейность будет востребована не меньше, чем в годы войны. Она никогда не была "удобным поэтом", не шла на компромиссы со своей совестью:

«И даже тем, кто всё хотел бы сгладить
В зеркальной робкой памяти людей,
Не дам забыть, как падал ленинградец
На желтый снег пустынных площадей»

«Не дам забыть!» – рефрен ее творчества. И ее знаменитый лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» на Пискаревском блокадном кладбище можно точно так же перенести и на расстрельный полигон НКВД – Левашовскую пустошь, где под корнями сосен покоится прах ее первого мужа – Бориса Корнилова.

Она его никогда не забудет и не откажется от его памяти. В 1968 году - спустя 30 лет после его расстрела - она откроет ему памятник на его родине - в той самой тихой деревне, из которой тот когда-то привез свои юношеские стихи в Ленинград.



ЮРИЙ КАЗАРНОВСКИЙ /Аня Юфрякова, 48 параллель/

В предисловии к сборнику «Поэзия узников ГУЛАГа» Семён Виленский, поэт, тоже прошедший через лагерь, говорит о том, что заключение было, как это страшно ни прозвучит, удивительной поэтической школой: поскольку очень часто для сохранения текстов их надо было учить наизусть, каждое слово должно было быть верным. Сама по себе эта мысль уже поражает, требуя и от нас собранности и готовности вслушиваться, вникать, проживать. Пока я, стараясь держать в памяти эту мысль, читала сборник, меня не оставляли две мысли.

Первая – это удивительное сочетание всеобщего и личного. Мы можем не знать обстоятельств жизни, даже имени автора текстов, но невозможно не думать о том, что за каждым словом стоит конкретная судьба. И она оказывается абсолютно неотделима от стихов. Имея доступ к подробным биографиям классиков, мы часто ищем в их текстах то, что хочется нам, а, возможно, не то, чем жили они. Здесь такой трюк пройти не может – вспоминаются строки Елены Тагер, ещё одного репрессированного поэта: «А мы уцелели. Мы живы. Мы факт./ И с нам придётся возиться».

Вторая же мысль оформилась в какой-то момент в вопрос: насколько вся прошлая (и будущая) литература, не прошедшая такой страшной проверки на подлинность, сохраняет свою силу и значимость? А если сохраняет, то как эту значимость можно определить? Своеобразным ответом на этот вопрос стало для меня знакомство сначала с текстами, а потом с судьбой Юрия Казарновского.

«Мой дядя самых честных правил,
Когда внезапно «занемог»,
Москву он тотчас же оставил,
Чтоб в Соловках отбыть свой срок»

«Что кто из поэтов написал бы по прибытии на Соловки» – с таким подзаголовком поэт Юрий Казарновский, сам находясь на Соловках, создал цикл стихотворений, в которых классические строчки выворачиваются и подстраиваются под лагерные условия. При первом прочтении тексты ставят в тупик своей несерьёзностью, лёгкостью – эти упрёки, однако, опровергаются как минимум фактами биографии (неотделимость автора от текста!): никак не убежать от того, что написаны они изнутри соловецкого заключения. И чем дальше читаешь, тем более зловеще начинают звучать одновременно такие знакомые и такие неузнаваемые строки.

«По вечерам над соловчанами
Весений воздух мглист и сыр.
И правит окриками пьяными
Суровый ротный командир»

Едва ли можно сказать, как эти тексты понимал сам Казарновский. Судя по немногочисленным воспоминаниям о нём, это был человек очень живого и весёлого ума. В частности упоминается, что в 1950-е годы, ведя бродяжническую жизнь в Алма-Ате, он брал в библиотеке «Алису в стране чудес» – книгу, по свидетельствам видевших его людей, очень близкую ему по духу. Жил, однако, этот кэрроловский герой не в выдуманной стране чудес, а в жестокой реальности.

«Я трибуналом обусловлен,
Коллегиально осуждён»

О жизни Юрия Казарновского известно мало. Родился он в 1904-м году в Ростове-на-Дону, затем переехал в Москву, где общался с поэтами, например, с Павлом Антокольским. В конце 1926-го года был арестован и приговорён к 5 годам Соловков, где в 1930-м году создал свой цикл пародий (если так корректно определить жанр). Там же он познакомился с Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым, который вспоминал о Казарновском как о «великом озорнике». В лагере он по страшной насмешке судьбы оказался тоже по причине весёлого нрава: из-за шутки на кухне коммунальной квартиры. Трагическое жутко и нелепо вторгается в классические тексты, тем более неуместно и нелепо оно вторгается и в жизнь – разве оно не может не быть абсурдным? В 1932-м году Юрий Казарновский был освобождён, но в 1937-м году он вновь был арестован и провёл 5 лет на Колыме и в Мариинских лагерях. Считается, что он был последним, кто видел Мандельштама, однако сам он об этом не рассказывал, так как находился уже в нездоровом состоянии. Реабилитирован в 1955-м году, при жизни. Больше ни про последние годы жизни поэта, ни даже про время его смерти ничего определённого не известно.

Душевное помешательство, на грани которого находился Казарновский на закате своей жизни, однако не вытеснило из его памяти стихов: видевший его в 50-е годы в Алма-Ате математик Глеб Васильев вспоминает, как Казарновский просил назвать любое стихотворение Гумилёва, а затем начинал его декламировать, цитировал стихи Рембо, Верлена, Малларме, как в оригинале, так и в разных переводах (в том числе в собственном).

Свой единственный сборник стихов Казарновский издал в 1936-м году, за год до своего второго ареста. Вероятно, поэтому этой книги нет в архивах, так что нам известно всего несколько стихов Казарновского. Среди них написанный в 1932-м году, в год освобождения, «Трамвай»:

«Он везет одиннадцать свиданий,
Две разлуки, сумочку в руке,
Семь портфелей, восемь опозданий
И жука на чьем-то пиджаке.
Он спешит. И множит громыханье,
Режет вечер, молод и жесток.
Он звонит — и тотчас расстоянье
Без оглядки мчится на звонок»

Нельзя ли увидеть в этом юном, кажущимся таким лёгким стихотворении зловещую тень другого трамвая, образ которого создал любимый Казарновским Гумилёв?

Не решусь делать какие-то выводы, тем более, что знаем мы об этом человеке очень мало. Но ясно, что заблудившийся трамвай унёс куда-то этого человека и жившие в нём стихи, как унёс миллионы других.

«Дайте мне, кондуктор, два билета:
Для меня и для моих стихов»

***

Стихотворения Юрия Казарновского: https://share.google/uiu8UFqfmaREXFK9s)

«Что кто из поэтов написал бы по прибытии на Соловки»:
http://www.agitclub.ru/museum/memorial/poesia/poes11/poesia101.htm



ТАТЬЯНА ГНЕДИЧ /Ася Брюсова, 48 параллель/

Памяти памяти

“…и Орфей не сочинитель, не Орфей, а Гнедич, Кашкин, переводчик…” — эта строчка сама собой возникла в моей голове, когда я начала писать эссе. Откуда она взялась? Вспоминаю: 2021 год, 10 класс, региональный этап всесосса по литературе… “Сонет в Игарку” Леонида Аронзона. Плохо помню, что я написала в анализе этого стихотворения, — что-то о продолжении традиции “Памятника” в русской литературе, наверное, — но почему-то запомнила даже не первую строку, а именно эту. Наверное, она впечатлила меня больше всего смещением акцента с, казалось бы, автора, “сочинителя” — на переводчика. Ни Пушкин, ни Державин, ни Ломоносов — ни один из них не писал о себе как о переводчике, хотя каждый в той или иной степени им стал, обратившись к оригинальному тексту Горация. Неудивительно, ведь автор пишет, а переводчик — остаётся за кадром, в пустом пространстве между типографскими знаками на бумаге. Становится ли он от этого менее важным?

Гораций писал о бессмертии автора в памяти его читателей. У Татьяны Гнедич, судя по всему, память была выдающаяся — “Дон Жуана” Байрона она помнила наизусть и переводила по памяти во время заключения в Крестах. Перевод тоже держала в голове, лишь спустя время получив принадлежности для письма от следователя, которому она парадоксально обязана тем, что её рукопись увидела читателей и получила высокие отзывы специалистов, в том числе М. Л. Лозинского. Байрон и его текст ожили в памяти Татьяны Гнедич, и она сама вышла за пределы тюремной

камеры не буквально, но метафорически благодаря своему таланту. К сожалению, это не помешало после двадцати двух месяцев одиночного заключения отправить Гнедич в Мариинский концлагерь — отбывать десятилетний срок.

Абсурдность обвинений во времена репрессий наглядно показывает случай, произошедший с переводчицей в аспирантуре: сначала её обвинили в том, что она скрывает своё дворянское происхождение, сразу после этого — что она кичится им. Каким-то образом Гнедич доказала, что эти обвинения взаимоисключающие, и в тот раз смогла избежать проблем.

Интересно то, что в блокадном Ленинграде были написаны эти строки:

“И казалось, в черном небе катится
Свастики костистой каракатица…”

Но мрачный образ наступающей нацистской Германии Татьяна Гнедич пережила — чтобы быть арестованной в собственной стране по ложному обвинению. Следующие десять лет она провела, сшивая чудом раздобытые тетрадные листы в маленькие книжечки, которые она дарила солагерницам. В них были и афоризмы на латыни с её переводом, и стихи Евгения Баратынского, и Анненского, и её собственные.

Прочитав первую строфу этого стихотворения я поняла, что звёзды, наконец, сошлись, и я буду писать эссе про Татьяну Гнедич:

“Бывает, я ночью проснусь — и слушаю
Движение звезд и поступь Разрух.
Я руку закидываю на подушку
И имя твое повторяю вслух…”

Сложно сказать, когда оно было написано, — так немного осталось от хроники жизни тех, о чьём существовании государство пыталось забыть. Может, ещё на свободе, может, уже под арестом. Но в нём есть томительное ощущение ожидания, лично мне напомнившее “я взбиваю подушку мычащим ты” Бродского. Поэтому сначала может показаться, что этот текст — пример любовной лирики, пока взгляд не цепляется за последнюю строфу:

“Каким бы ты ни был —
в святой истерии
Во имя извечного права мук
Я вечно — Елена и вечно — Мария
Для распятых, бедных, измученных рук.”

Татьяна Гнедич была дважды забыта — как переводчик, чья роль всегда остаётся за кадром, и как человек, оказавшийся в концлагере. После освобождения она продолжила заниматься переводами и преподавать, небольшой сборник её стихотворений был издан только после её смерти.

Возможно, история Татьяны Гнедич оказалась мне особенно близка не только из-за случайного воспоминания из десятого класса и не только из-за её стихотворения и поразительной памяти, но также из-за некоторого сходства наших биографий: я тоже ношу литературную фамилию более известного родственника, тоже связала профессиональную деятельность с языком, тоже пишу стихи... На этом биографические сходства, к счастью, заканчиваются.

Память меня порой подводит, и воспоминание о “Сонете в Игарку” — скорее редкий её проблеск, чем закономерность.

Записать и пропустить через себя информацию — как мне кажется — почти единственный способ что-то запомнить, и это, пожалуй, хорошо, потому что так личная память переходит в коллективную. И я надеюсь, теперь больше людей узнают историю Татьяны Гнедич: прочитают её стихи и переводы и будут иногда случайно вспоминать их — может, даже цитировать невзначай. Именно так и живёт текст — не на бумаге, а в памяти, пусть даже это небольшой отрывок, а не целая поэма Байрона.



ТИЦИАН ТАБИДЗЕ /Ваня Пуляев, 48 параллель/

В Тбилиси, неподалёку от театра Резо Габриадзе и набережной реки Куры, есть небольшой сквер с бюстом в центре: тоненькие деревья шатром нависают над каменной головой, которая будто бы напоминает громадную переспелую виноградину. Это поэт Тициан Табидзе — обладатель пары печальных глаз и несуразной внешности — такую мог бы иметь Козьма Прутков, родись на столетие позже и на Кавказе. Смесь деревенского радушия и высокого аристократизма, аккуратно подстриженная чёлка, припухлое лицо и обаятельная полнота, над которой поэту грех не поиронизировать:

«Я был похож на Антиноя,
А сам полнею, как Нерон»

Ещё и имя — с которым любая творческая дерзость простительна, а венецианская нескромность — к лицу.

«Имя моё — Тициан, — как ни странно,
Больше всего опозорено
Сравнением с бархатом Тициана
На старинных полотнах разодранных…
Ведь не предвидел, честное слово,
Ты, Тициан, двойника такого!»

Родившийся в 1895-м, Тициан Табидзе оказался в числе тех грузинских поэтов, которые были тесно связаны с русской словесностью: в Кутаиси кончал одну гимназию с Маяковским, во время учёбы в Московском университете с головой окунулся в столичную культурную жизнь, а, обосновавшись в Тбилиси, создал в

своей квартире на улице Грибоедова нечто вроде литературного салона, где, среди прочих, бывали Пастернак, Белый, Есенин и Мандельштам. А потому неудивительно, что сам Табидзе поначалу отчётливо тяготеет к символизму: преклоняется перед Верленом и Бальмонтом, становится, по выражению критиков, «грузинским Блоком».

В поэзии Табидзе и правда то и дело возникают блоковские образы. Например, балаганчик: реальность оказывается маскарадом, театр — реальностью, а ход времён, Божественная литургия и цирковое представление объединяются в единую вселенскую мистерию, где лирическому герою отведена роль Пьеро.

«О родина, смотрю я на тебя
Из сумерек партера.
Мой старый балаган, с тобою снова я —
Бродяга и актёр.
От выцвета души твоей не защитили
Ни пёстрая фанера,
Ни холст цветной — всё солнцем беспощадно
Расстреляно в упор»

Выбор амплуа закономерен и предопределён: Табидзе — певец печали. Почти каждое его стихотворение, особенно в начале творческого пути, приправлено предчувствием смерти, ожиданием конца и расставания — и эти ощущения, как правило, иррациональны и необъяснимы: у героя просто начинает щемить сердце, когда он смотрит на горы или, допустим, поёт колыбельную маленькой дочери:

«Спи, не подозревая ни малости,
Как мне страшно под нашею крышею,
Как я мучусь тоскою и жалостью
Ко всему, что я вижу и слышу»

О грусти, которая почему-то соседствует с переживанием удивительной красоты мира, Табидзе пишет и в программном стихотворении 1927-го года. Рисуя свой собственный автопортрет, он заигрывает с жанром эпитафии и формулирует отношение к поэзии как таковой: каждый искренний поэтический текст тут оказывается сравним со сходом лавины или, например, ударом электрического тока.

«Да, скажет, был у нас такой несчастный малый
С орпирских берегов — большой оригинал.
Он припасал стихи, как сухари и сало,
И их, как провиант, с собой в дорогу брал.

И до того он был до самой смерти мучим
Красой грузинской речи и грузинским днём,
Что верностью обоим, самым лучшим,
Заграждена дорога к счастью в нём.

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их.
Что стих? Обвал снегов. Дохнёт — и с места сдышит,
И заживо схоронит. Вот что стих»

Наконец, важнейшая черта Тициана Табидзе как поэта и, судя по всему, как человека тоже — страстная любовь к Грузии. К той горной стране, где встречаются Медея и Мцыри, Орфей и Саят-Нова, Овидий и Пушкин, герои «Витязя в тигровой шкуре» и приплывшие за золотым руном аргонавты — и с чьей помощью молодой поэт пытается нащупать, из чего же состоит сам. Однако вновь и вновь радость родства сменяется плачем: как бы Табидзе ни занимала электрификация Мцхеты, в основном он будет петь о настигавших Грузию страданиях, о веками проливавшихся потоках крови. Писать «поэму бедствий родины», настаивать на том, что любовь к стране — в сопереживании горю.

«Лишь тот отчизне верен, вырастая,
Кто осушал народных слёз поток.
Всё остальное — выдумка пустая,
Так мы подводим жизненный итог»

Понятное дело, что чтение переводной поэзии, да ещё и написанной на том языке, даже алфавит которого тебе неведом, можно сравнить с путешествием наощупь и наугад. Когда стихотворение нравится, не знаешь, кого благодарить — поэта или переводчика (вероятно, обоих). Когда хочешь пожурить автора за неточную рифму, осекаешься, потому что понимаешь, что сам Тициан Табидзе к этой конкретной русской рифме, быть может, имеет отношение косвенное или не имеет вообще никакого. Это всё ясно. И потому даже самые удачные русские переводы грузинских стихотворений не получается воспринимать иначе, нежели как попытку переложения той индивидуальной человеческой интонации, до которой вообще-то в жизни нам не добраться. И творчество Табидзе — отличный тому пример, потому что выглядит настоящим олицетворением встреч и столкновений разных словесных культур: поэт испытал сильное влияние русской и французской традиций, сам писал на грузинском и о Грузии, а потом его тексты, уже в переводах Пастернака, Ахматовой, Заболоцкого и Лившица были воплощены в русском слове, стали частью русской словесности. И автор, выдающийся поэт Грузии, для России — словно малознакомый троюродный брат, который жил где-то за тридевять земель, а при этом был с нею повязан — словом и смертью.

Тициана Табидзе расстреляли в 1937-м году, после того как на допросе у Берии он отказался оклеветать своего ближайшего друга — поэта Паоло Яшвили. К тому моменту Яшвили уже сам лежал в могиле (немногим ранее он застрелился во время собрания в Доме писателей Грузии), но Табидзе, знавший о том, что его друг мёртв, отказался предать и мёртвого, произнеся фразу: «Если я подпишу, не будет иметь смысла ничего из того, что мной уже сделано и написано». Несмотря на то, что соцреалистический пафос к тридцатым годам во многом вытеснил былые блоковские интонации в его поэзии, вернуться в свою квартиру на улице Грибоедова Табидзе уже было не суждено.

А та квартира, естественно, сохранилась — и меньше, чем через тридцать лет, к её дверям подойдёт Булат Окуджава. Тогда он напишет:

«Берегите нас, поэтов. Берегите нас.
Остаются век, полвека, год, неделя, час,
три минуты, две минуты, вовсе ничего...
Берегите нас. И чтобы все — за одного»

ФИНАЛ СЕРИИ ЭССЕ

На этом мы заканчиваем полуторамесячный цикл эссе о репрессированных поэтах. Мы постарались продлить тот диалог, который они вели друг с другом, со своей эпохой, с Серебряным и Золотым веком русской поэзии.

Это были очень разные люди. У них разное происхождение – певец русской деревни Николай Клюев и грузинский поэт Тициан Табидзе. Разные профессии – переводчик Татьяна Гнедич, филологи Ольга Берггольц и Софья Солунова. Разная судьба – расстрелянный Борис Корнилов и проведшая 21 год в лагерях Анна Баркова. Разный вклад в отечественную литературу – основатель авангардного направления обэриутов Александр Введенский и Юрий Казарновский, чьи острые пародии из лагерной жизни пусть и невысокого поэтического полета, зато врезаются в память своей остротой.

Но при всей разнице у них есть одна общая важная черта. Каждый из них разделил судьбу своего народа. Сопереживая судьбам десятка выбранных поэтов, можно разглядеть за ними десятки тысяч других людей, прошедших теми же страшными дорогами.

«Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был»

Анна Ахматова «Реквием»

Нам представляется крайне важным то трепетное внимание, которое они уделяли образу своей Родины, которая была с ними так жестока. Их опыт патриотизма бесценен, поскольку кристален – в нем точно нет сомнений. Они не получали госнаграды и госдачи в Переделкино, они сидели в тюрьме. И должны были бы ненавидеть, а они любили… Вот о ком можно говорить со школьниками на уроках о важном! Вот кому было бы здорово когда-нибудь посвятить День Гимназии в 1543.